



Ю. АЙХЕНВАЛЬД

Анна Ахматова

«Четками» назвала Анна Ахматова свой известный сборник; и это правильно, потому что в ее поэзии много молитвенности, и стихи ее — четки, или амулеты, которые должны бы охранять ее от нечистой, от злой силы (в нее она верит), но которые не уберегли ее от наваждения любви. И про любовь свою, злополучную и неутоленную, рассказывает она миру. Очень интимен дневник ее творчества, но эта интимность интересна: она вышла за пределы личной исповеди, так как вообще все то, что по-настоящему и до дна лично, тем самым и общественно; субъективное, совершая свой кругооборот, возвращается к объективному. Анна Ахматова любит свое имя, «сладчайшее для губ людских и слуха», и своей поэзией она заставила полюбить его и других. Она явила образ женской души, которая приняла любовь, как отраву, недуг и удушье. Перед нами — страдалница любви; и оттого «словно тронуты черной, густою тушью тяжелые веки» ее. В этой жертвенной любви, которая не ликованием и радостью, а надгробным камнем легла на жизнь, в этой любви на погосте «всего непременно — полынь». Что же удивительного, если сама Ахматова признает свой голос незвонким? Грустный голос ее, действительно, незвонкий, но он — такого чарующего тембра, какого никогда еще не слышала из уст своих поэтесс русская литература. И если писать о стихах всегда значит переписывать стихи, то это особенно применимо к ней, автору «Вечера» и «Подорожника»: так задушевы и проникновенны интонации ее некнижной, чистой русской речи, что хочется только слушать и слушать «стихов ее белую стаю», а не говорить о ней языком нашей охлаждающей прозы. К тому же трудно уловить и формулировать особенности ее стихотворений, их своеобразную ритмику и композицию — эти неожиданные, но убедительные, эти нелогические,

но тонко психологические переходы от слов настроения к словам описания, от души к природе, от факта к чувству, эти волнующие ассоциации, которыми она навсегда — и для себя, и для читателей — связала свои душевные состояния с какой-нибудь выразительной подробностью пейзажа, обстановки, быта, с какой-нибудь характерной деталью пережитого явления. Она искусно подбирает другим незаметные признаки соответственного момента, она «замечает все, как новое», так что внутренний мир ее не просто обновляется внешним, а сходятся они во едино, в одну слитную и органическую целостность жизни. Легкий жест, движение, та или другая наружная примета лучше всяких излишних обрисовывает ее душу. Разве, например, вся горькая растерянность и смущенность последней встречи не сказываются в этом штрихе: «я на правую руку надела перчатку с левой руки»? И в контексте стихотворения, где звучит осенний мотив:

Память о солнце в сердце слабеет,
Желтей трава;
Ветер снежинками ранними веет
Едва, едва —

разве пуст, разве не заполнен эмоциональным содержанием переход, или промежуток между первыми двумя и последними двумя стихами вот в этой строфе:

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой?

И разве мы не чувствуем, какая симпатическая связь ощущений и вещей породила между собой следующие строки:

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем?

Общую картину тоски здесь неизбежно дополняет и мертвенно освещает равнодушная желтизна свечей, и нельзя их не заметить и не запомнить. Ибо вещи вмешиваются в душу. И так как внешняя предметность, конкретные очертания, фактическое окружение вообще нужны Ахматовой, то это и вносит в ее лирику начало эпоса, не дает последней расплыться в марево, сообщает ей желанную устойчивость и реальность. Такой манерой лирического рассказа, сплетающего осязательные ни-

ти с бесплотными, такую системой поистине тонких намеков и сближений осуществляет поэтесса теплую жизненность своих созданий, и по нежным, синим венам ее лиризма начинает струиться ощутимая кровь. Конечно, на первый взгляд может показаться, что только внешне связаны у нее строки о чувстве со строками о чем-то постороннем; но очень скоро этот возможный скептицизм читателя рассеивается, и познаешь, что, согласно Гете, внешнее и внутреннее у нее — одно, что постороннего у ней нет; она убеждает в своей искренности, и веришь, что не случайны устанавливаемые ее стихами связи явлений, что природа для нее не декорация, что все слова ее и обо всем пронизаны единством настроения. Ее стихи — ее жизнь. Ни один из них не написан зря, и все они, тоже как бы по завету Гете, созданы по поводу действительного случая из внешней или внутренней, т. е. единой, биографии.

Это пленительно. Но и сама пленительница находится в плену у некоего царевича, у сероглазого короля, у того, кто взял ее сердце, но не отдал надолго своего. И с тех пор она больна любовью и от любви. Но от боли и не зарекается она: «слава тебе, безысходная боль!». Ей нужна мука, трудно представить себе ее счастливой, у нее нет таланта счастливости —

Я не плачу, я не жалуюсь,
Мне счастливой не бывать,
Не целуй меня усталую, —
Смерть придет поцеловать.

Даже общедоступное счастье сна мало ведомо ей, поэтессе бессонницы, этой верной «сиделки» ее ночей. У нее душа — вдова. И она хочет быть прирученной, покоренной, и неспроста читаем мы в одном ее стихотворении: «муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем», и в другом стихотворении героиня — рабыня дракона, —

А в пещере у дракона
Нет пощады, нет закона,
И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь.

«Как соломинкой», пьют ее душу, но она пытки мольбой не нарушит и только просит: «когда кончишь, скажи». Беззаветна, отреченна, смиренна ее любовь, но сосредоточенно страстна — «и если б знал ты, как сейчас мне любви твои сухие розовые губы»; и «десять лет замираний и криков, все свои бессонные ночи» умеет она вложить в одно любовное слово. Однако бывают исключительные минуты у этой женщины, которая «от

любви его загадочной, как от боли, в крик кричит, стала желтой и припадочной, еле ноги волочит», которая так страшно говорит ему:

Новых песен не насвистывай,
Песней долго ль обмануть?
Но когти, когти неистовой
Мне чахоточную грудь.

Чтобы кровь из горла хлынула
Поскорее на постель,
Чтобы смерть из сердца вынула
Навсегда проклятый хмель, —

бывают у нее минуты, когда общая смиренность ее отходит вдаль и сменяется реакцией безудержного и буйного протеста. Вот спокойно, в тонах отречения, говорит она о себе:

Знаю: гадая, не мне обрывать
Нежный цветок маргаритку,
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.
Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую —

и вдруг это прерывается иступленным, истошным криком:

Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Или она восклицает:

Не любишь, не хочешь смотреть...
О, как ты красив, проклятый!

И хочется назвать ее тогда: поэтесса-кликуша. Или услышит от нее разлюбивший:

А! ты думал, я тоже такая,
Что можно забыть меня,
Что брошусь, моля и рыдая,
Под копыто гнедого коня.

.....

Будь же проклят. Ни словом, ни взглядом
Окаянной души не коснусь.
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

Эти смены мотивов, да и весь общий стиль ее любви связаны с тем, что Анна Ахматова — моральная монастырка, монашен-

ка, с крестом на груди. Она помнит об аде, верит в Божье возмездие. Ее любовь — та же власяница. У нее строгая страсть, и она смущена своей любовью, но, может быть, успокоена тем, что любовь ее несчастна, и, значит, Бог не в обиде, Бог не поруган грешностью своей богомолицы. При этом Ахматова — монастырка, но в миру, но в свете, в блестящем вихре столицы, среди изощренных развлечений и выдающихся людей: сочетание редкое и оригинальное. В Булонском лесу каталась она со своим избранником. В Петербурге шумной жизнью жила эта внутренняя аскетка — «где зимы те, когда я спать ложилась в шестом часу утра?» и да, она любила их,

. те сборища ночные,
 На маленьком столе стаканы ледяные,
 Над черным кофеом пахучий, тонкий пар,
 Камина красного тяжелый, зимний жар,
 Веселость едкую литературной шутки
 И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

Из своей душевной кельи она выходила туда, где

Звенела музыка в саду
 Таким невыразимым горем;
 Свежо и остро пахли морем
 На блюде устрицы во льду.

У нее — чувство Петербурга, она любит его, «гранитный город славы и беды», она до того сжилась с ним, что, кажется, под его сенью, «над Невою темноводной, под улыбкою холодной Императора Петра», навеки застыли тени ее и ее возлюбленного. Но сквозь эту близкую ей стихию столичности и утонченного изящества «что-то слышится родное», слышится именно повесть неприласканного, простого сердца и милая русская бабья душа, и виднеется русская женщина с платочком на голове. Действительно, сколько бабьего, в хорошем смысле этого слова, — в таких, например, строках, которые слишком естественны и незатейливы, чтобы назвать их стихами:

Я с тобой не стану пить вино,
 Оттого, что ты — мальчишка озорной.
 Знаю я — у вас заведено
 С кем попало целоваться под луной.
 А у нас тишь да гладь,
 Божья благодать,
 А у нас светлых глаз
 Нет приказу подымать.

Или:

Со дня Купальницы-Аграфены
 Малиновый платок хранит,
 Молчит, а ликует, как царь Давид.
 В морозной келье стены,
 И с ним никто не говорит.

Приду и стану на порог,
 Скажу: «Отдай мне мой платок».

Когда читаешь подобные слова, то невольно соглашаешься с тем критиком, который услышал в поэзии Ахматовой тона частушки и повторил ее собственное признание: «лучше б мне частушки задорно выкликать». Из недр народности, как из своего последнего источника, текут ее личные песни, и вообще она — такая русская, великорусская, она светлыми струями своих стихов утоляет нашу оскорбленную жажду родины. Замечательно в ней это соединение: она одновременно индивидуальна и национальна. Изысканная, вкусившая тончайших даров культуры, хрупкая и нервная, Ахматова, вместе с тем, простодушна и принадлежит к общим глубинам исконной России; и творческий лик ее навевает воспоминания о русских иконах, о вдохновениях Андрея Рублева, о явленных бесплотностях Васнецова и Нестерова. Осеняет ее ореол родной страны и старины. Часто говорит она о Новгороде, где «Марфа правила и правил Аракчеев», о древнем городе, над которым «звезд иглистые алмазы к Богу взнесены», в котором она хотела бы окончить «путь свой жертвенный и славный». И мы читаем:

Приду туда, и отлетит томлень.
 Мне ранние приятны холода.
 Таинственные, темные селенья —
 Хранилища молитвы и труда.

Спокойной и уверенной любви
 Не превозмочь мне к этой стороне:
 Ведь капелька новгородской крови
 Во мне — как льдинка в пенистом вине.

И этого никак нельзя поправить,
 Не растопил ее великий зной,
 И, что бы я ни начинала славить —
 Ты, тихая, сияешь предо мной.

Тихая, сияет перед нею ее северная родина. И это сияние льдинки и пенистого вина, это сочетание спокойной и уверенной любви, именно любви, а не любви к северу с великим зноем уже не любви, а любви, земной любви к любимому — вот что является одною из ее самых характерных особенностей.

Она религиозна, она благочестива, этот отпрыск новгородской старины, верная дочь православной церкви, носительница древнего благочестия. Но эта христианка влюблена, а любовь — это язычество. И даже в пределах чтимого христианством Писания она переходит от строгого к страстному, от апостолов к Песни Песней —

Читаю посланья апостолов я,
Слова псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист.
И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.

Влюбленность — язычество, и природа — язычество, так что с православным, с церковным настроением Анны Ахматовой не может не переплетаться и это другое начало. И потому она верит в приметы, она суеверна, она гадает, ворожит, колдует, христианка-цыганка; она ради любимого, но не любящего может «просить у знахарок в наговорной воде корешок иль пришлет ему страшный подарок — свой заветный душистый платок». Она носит на счастье темно-синий шелковый шнурок, она чувствует воду, и разными другими тайнами делится с нею полное загадок естество. В душе у нее — много романтики и сказки, так что даже лирическую эпопею своей любви она развертывает в двух обликах — реалистическом и фантастическом. С одной стороны, все так ясно, конкретно, здешне, и можно даже догадываться о действительном имени, какое носит герой ее романа; с другой стороны, этот же роман отодвигается в светлую тень и даль призрачного мифа. Иногда эти два освещения соединяются в один белый свет — как, например, в белых стихах несказанно прекрасной лирической поэмы «У самого моря», где в очарованиях юности и легкой праздности выступает эта вместе реальная и волшебная девушка, у самого моря дожидаящая своего царевича, которого она так-таки и не дождалась, увидела умирающим. В причудливое целое слиты здесь правда и легенда; они не противоречат одна другой, как не противоречат у Ахматовой ее новгородский элемент и ее привязанность к морю, к самому морю, на берегу которого рождается ее любовь, на берегу которого красуется образ почитателя-рыбака:

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.
Едкий, душный запах дегтя,
Как загар, к тебе идет.

И всегда, всегда распахнут
Ворот куртки голубой.
И рыбачки только ахнут,
Закрасневшись пред тобой.

Даже девочка, что ходит
В город продавать камсу,
Как потерянная бродит
Вечерами на мысу.

Щеки бледны, руки слабы,
Истомленный взор глубок,
Ноги ей щекочут крабы,
Выползая на песок.

Но она уже не ловит
Их протянутой рукой;
Все сильнее биенье крови
В теле, раненном тоской.

И все это выдержано в словах и красках изумительной чистоты и чисто-пушкинской простоты. На Ахматовой вообще почитает благодать Пушкина; его традицию продолжает поэтесса, и роднят их заветное для обоих Царское Село, и лебеди царско-сельских прудов, и статуи царскосельских парков, до такой степени оживляемые, одушевляемые Ахматовой, что к одной из них, к ее нарядной нагоде, она даже ревнует своего желанного, — к той мраморной сопернице своей, про которую она сказала:

И ослепительно стройна,
Поджав незыбнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Да, в Анне Ахматовой не умер Пушкин, не умерло все то благословенное, что связано с ним, Александром Благословенным, и расступаются перед нею тяжкие ряды русских десятилетий, и видит она за ними все те же царскосельские аллеи, по которым бродит незабвенный лицеист:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов.
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы елей густо и колко
Устилают низкие пни.
Здесь лежала его треуголка
И изорванный том Парни.

И вот эта законная наследница Пушкина, уловившая в своих стихах шелест его шагов, полюбила, но серьезного ответа на свою любовь не встретила. Герой украл ее сердце, но «скоро, скоро вернет свою добычу сам», и он смотрит на нее равнодушно или насмешливо, спокойными глазами, «под легким золотом ресниц», и это про него рассказано в стихотворении «Четок» —

.....
 Ах, кто-то взял на память
 Мой белый башмачок.
 И дал мне три гвоздики,
 Не подымая глаз.
 О, милые улики,
 Куда мне спрятать вас?
 И сердцу горько верить,
 Что близок, близок срок,
 Что всем он станет мерить
 Мой белый башмачок.

Небрежный владелец влюбленного сердца и белого башмачка, этими сокровищами не дорожающий, не останется единственным для Анны Ахматовой; но годы пройдут, а она его не забудет, он для нее — «непоправимо милый», и пусть он теперь «тяжелый и унылый», это не глушит ее чувства. К нему, к первому хочется отнести ее обращение:

Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
 Что наяву не знаешь, что во сне,
 Но зелены мучительные очи,
 Покоя, видно, не нашел в вине.

 Так дни идут, печали умножая.
 Как за тебя мне Господа молить?
 Ты угадал: моя любовь такая,
 Что даже ты ее не мог убить.

Все психологические детали этого романа явлены в чарующих стихах «Вечера» и «Четок», «Белой стаи» и «Подорожника», и чтобы его узнать, надо их прочесть целиком. Отметим лишь ту из его важных и своеобразных особенностей, что герой его — поэт, а героиня — поэтесса. Похититель сердца, других, «прекрасных рук счастливый пленник», оказывается, — «знаменитый современник», и его любовную тяжбу с героиней рас судят когда-нибудь потомки, и когда-нибудь дети прочтут в учебниках имя отвергнутой им женщины, — она войдет в его биографию; он не дал ей, сероглазый жених, любви и покоя,

зато подарит ее горькою славой. Но биография пересечется здесь с биографией, его стихи встретят ее, потому что и она их пишет, и из стихов в стихи переливается дыхание обоих: «голос твой поет в моих стихах, в твоих стихах мое дыхание веет». К ордену поэзии принадлежат они оба, дышат ею оба, но только он не любит ее стихов, т. е., значит, ее души, ее дыхания, и даже сказал ей однажды: «быть поэтом женщине — нелепость». Едва ли это с его стороны — ревность к Аполлону, зависть к возможной чужой славе; но во всяком случае между ними становится то, что их соединяет, — между ними становится поэзия. Иногда она мешает его творчеству — «этих строчек не допишешь: я к тебе пришла»; но в общем, как его сердцу, так и его песням не является она препоной, потому что он не обращает на нее внимания, — а вот ей не дает он жить и петь.

.....

Вы, приказавший мне: довольно,
 Пойди, убей свою любовь!
 И вот я таю, я безвольна,
 Но все сильнее ссучает кровь.

И если я умру, то кто же
 Мои стихи напишет вам,
 Кто стать звенящими поможет
 Еще не сказанным словам?

А ей так хотелось бы, чтобы звонким ручьем зазвенели таящиеся в ней стихи, чтобы запела живущая в ней птица-тоска, и ей так хотелось бы «его, его в устах своих прославить, как женщина прославить не могла». Но томления любви не позволяют ей писать, «не допишу я этих нежных строк», и лежит перед нею «непоправимо белая страница». Между тем у нее, у этой Христовой невесты, но и поэтовой невесты, глубока потребность в поэзии, сильна «предпесенная тревога», и «нестерпимо больно» ее душе «любовное молчание». Она любит свою Музу, сестру-Музу, она так явственно видит ее, в веночке темном, ее смуглые руки, ее смуглые ноги, и верит она:

А недописанную мной страницу —
 Божественно спокойна и легка —
 Допишет Музы смуглая рука.

Вдохновенья ждет она, как Божьей благодати; для нее творчество — священнодействие, с молитвой приступает она к стихам, причащается поэзии, как святых тайн:

Я так молилась: «Утоли
Глухую жажду песнопенья».
Но нет земному от земли
И не было освобожденья.

Как дым от жертвы, что не мог
Взлететь к престолу Сил и Славы,
А только стелется у ног,
Молитвенно целуя травы, —

Так я, Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной?

Роман религиозной поэтессы, слагающийся из тончайших оттенков, роман поэтессы и поэта осложняется еще тем, что сюда привходит третий. Он — юный, он — мальчик, он к ногам ее положен, ласковый лежит, он жадно и жарко гладит холодные руки ее, он приносит ей белые розы, мускатные розы, но она не отвечает ему любовью, и плачет высокий мальчик, и на взморье тайная боль разлуки стонет белою чайкой, — и не выдержал он ее «нелюбови», своей непринятой первой любви, — и вот он умер, и она молится о нем в католическом храме:

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь...
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть!

.....
Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой.
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

«Тихо плывут года». События сердца не проходят; но если исключить отдельные вспышки любовного огня, неожиданные мгновенья молодости, принесенные солеными брызгами моря и ветра и предчувствием каких-то счастливых свиданий, то страницы сердца еще более матовы, чем прежде, и в затихшей келье духа еще слышнее мотивы отречения.

И легкие месяцы будут над нами
Как снежные звезды летать.

Легкие месяцы и какая-то грустная облегченность души («мне даже легче стало без любви»), и легкость изнеможенного тела. «В недуге горестном ее томится плоть», у нее — «воско-

вая, сухая рука», и можно ли представить себе более трогательные звуки, чем эти:

Так раненого журавля
Зовут другие: курлы, курлы!
Когда осенние поля
И рыхлы, и теплы...

И я, больная, слышу зов.
Шум крыльев золотых
Из плотных низких облаков
И зарослей густых:

«Пора лететь, пора лететь
Над полем и рекой.
Ведь ты уже не можешь петь
И слезы со щеки стереть
Ослабнувшей рукой»?..

Сменяются в ней очарования любви с ее разочарованиями, еще отдаешь кому-то и «стихов своих белую стаю, и очей своих синих пожар», но сильнее всего — «богомольная печаль» и чувство отрешенности, как будто уже переступила она земной порог, как будто она — «уже привыкшая к высоким, чистым звонам, уже судимая не по земным законам», как будто происходит уже с нею «посмертное блуждание души».

И, может быть, с этими настроениями отрешенности и отрешенности связано то, что в личную жизнь поэтессы, как и в личную жизнь каждого из нас, вошла общая печаль, проникла великая русская скорбь. У Анны Ахматовой личное не погибло, но осложнилось общественностью ее внутренний мир, и под воздействием событий в проникновенные слова претворились всегда свойственные ей предрасположения патриотизма, органическое чувство родины. Когда траурная тень войны покрыла родную землю, Ахматова, закрыв лицо, умоляла Бога до первой битвы умертвить ее; из памяти ее, «как груз отныне лишней, исчезли тени песен и страстей, — ей, опустевшей, приказал Всевышний стать страшной книгой грозových вестей». И такую молитвой молится она, ощутившая в себе печаль царя Давида:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией
 Стала облаком в славе лучей.

Ей нужно, чтобы Богородицын плат, Богородицын плащ спасительным покровом разостлался над ее несчастной страной. И не мало близких ей ушли на войну, ушли — и не вернулись.

Вестей от него не получишь больше,
 Не услышишь ты про него.
 В объятой пожарами скорбной Польше
 Не найдешь могилы его.

И про одного из них, из этих самоотверженных сыновей России, мы читаем:

О, нет, я не тебя любила,
 Палима сладостным огнем, —
 Так объясни, какая сила
 В печальном имени твоём.

Передо мною на колени
 Ты стал, как будто ждал венца,
 И смертные коснулись тени
 Спокойно-юного лица.

И ты ушел не за победой,
 За смертью. Ночи глубоки.
 О, ангел мой, не знай, не ведай
 Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
 В лесу осветится тропа,
 Но если птица полевая
 Взлетит с колючего снопа, —

Я знаю: это ты, убитый,
 Мне хочешь рассказать о том,
 И снова вижу холм изрытый
 Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы,
 Забуду молодость мою,
 Душа темна, пути лукавы,
 Но образ твой, твой подвиг правый
 До часа смерти сохраню.

Образ русского воина бледнеет только перед образом России, зримо или незримо, но всегда сопровождающим Анну Ахматову. И когда наступил бесславный конец войны и то бесславное, что началось за ним, из вдохновенных уст поэтессы изникли торжественные стихи:

Когда в тоске самоубийства
 Народ гостей немецких ждал
 И дух суровый византийства
 От русской церкви отлетал, —
 Мне голос был. Он звал утешно,
 Он говорил: «Иди сюда,
 Оставь свой край глухой и грешный
 Оставь Россию навсегда.
 Я кровь от рук твоих отмою,
 Из сердца выну черный стыд,
 Я новым именем покрою
 Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
 Руками я замкнула слух,
 Чтоб этой речью недостойной
 Не осквернился скорбный дух.

О, нет! Ничем и никогда не осквернился дух нашей прекрасной поэтессы. Чистой вынесла и спасла она свою душу из былой праздности Петербурга и Павловска холмистого, из всяких соблазнов жеманства и неврастеничности, и не покинула ее великая и светлая простота, материнский дар ее простой России.

Как одно из проявлений этой святой простоты, всегда живет в Ахматовой, сердце свое отдавшей пыткам и чарам «великой земной любви» (хотя и не единственной) — живет в ней негромкий, но все же внятный мотив материнства. Не осуществилось оно до конца, не с полным достоинством несла она его «светлую пытку», потому что материнство — это осень женского века, или, по крайней мере, его серьезное лето, а той, о ком говорит наша поэтесса, полюбилась «длинная весна», полюбились многие любви, — но тоскою и покаянием искупила она этот грех незаконной весенности... Впрочем, лучше услышим об этом ее собственные слова:

«Где, высокая, твой цыганенок,
 Тот, что плакал под черным платком,
 Где твой маленький первый ребенок,
 Что ты знаешь, что помнишь о нем?..»

«Доля матери — светлая пытка,
 Я достойна ее не была.
 В белый рай растворилась калитка,
 Магдалина сыночка взяла.

Каждый день мой — веселый, хороший,
 Заблудилась я в длинной весне,
 Только руки тоскуют по ноше,
 Только плач его слышу во сне.

Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего,
Все брожу я по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его».

Сиротеет не только ребенок без матери, но и мать без ребенка. Ее опустевшие, праздные руки тоскуют по ноше. Но еще тяжелее тоска другой матери — той, чье скорбное лицо на фоне русского ужаса показала нам чуткая душою Анна Ахматова:

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках?
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах?..

Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.

На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.

Здесь позвольте окончить цитаты из Анны Ахматовой, хотя и трудно остановиться, когда черпаешь из этого милого и светлого родника. Трудно остановиться, и потому все-таки — еще одно, последнее сказание, еще одно стихотворение — из «Подорожника».

Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу...
Сосен дрогнули верхушки,
Желтый луч упал в траву,
Но ни звука в чаще свежей.
Я иду домой.
И прохладный ветер нежит
Лоб горячий мой.

Было бы очень счастливо для русской поэзии, если бы кукушка ошиблась. Ибо нужна духовной России Анна Ахматова, последний цветок благородной русской культуры, хранительница поэтического благочестия, такое олицетворение прошлого, которое способно утешить в настоящем и подать надежду на будущее.

